

Я ехала в поезде... И задумываться не хотелось. Если хотелось, то чуть-чуть. На чуть-чуть меня и хватило. «Да вот защемило что-то и не отпускает, а мать мне говорила: терпи любую боль, кроме сердечной», — так говорил накануне своей смерти Василий Макарович Шукшин... Сердечной вроде и не было. Но он и терпел. Разную боль. Любую. А боль любила его. Привязывалась к нему. Мучила его.

В день на святого Макария
Калина вспылит... на погосте,
Видишь, Василий Макарыч,
В жизни все так же просто...

Просто. До первого октябрьского озноба. Вроде и небо такое ясное, почти прозрачное.

Как стекло. Даже лучи солнца его стеклянную прозрачность пробивают желтым светом. А уже зябко. Но калину — в самый раз собирать. Как просто!

«Человека не стало... Что же это такое было — жил человек... Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как?.. А зачем все, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать-то — не страшно...»

Страшно. Еще как страшно. Хотя и так просто...

Я задремала. Если бы не дремала! Если бы уснула. Или не уснула вообще и убежала в тамбур. Но не получилось. И я слышала. Услышала... Один говорил громко и вызывающе. Второй — от стеснения за первого, наверное, все молчал. А если и

говорил, то так тихо, что его слов даже не было слышно...

Вот так я стала невольным свидетелем этого купейного разговора, больше похожего на монолог.

— Сколько же калины в октябре! Собирать самое время. Сорвал ягодку. Прикусил ее. Облизал алый сок с обветренных губ. Хорошо-то как! Горько, но почему-то вкусно. И еще хочется. Как и в жизни. Все горько — а пожить хочется... Вот и косточка. Нет, нет, не выплевывай. Обязательно скушай. Видишь, у нее форма в виде сердечка. Будешь есть косточки-сердечки, сердце не замучится. Хотя... Хотя горечи, пожалуй, вряд ли поменьше станет. А у каждой ягодки свое сердечко. Сколько же их у куста! Десятки, сотни! Какое счастливое дерево. Одно сердечно заболевает. Умрет. А дерево не погибнет. Вот бы и у нас было так. Много сердец. Одного, второго, третьего — не жалко. Вон их сколько! На жизнь хватит... Впрочем, если бы у Макарыча были еще десятки, сотни запасных сердец, ему бы их на жизнь все равно не хватило. Он бы их все stráтил. Так же быстро. Так же легко. Так же мучительно. Так же жертвенно. Хватило бы только лет на сорок пять...

Кто такой Макарыч? Не смейся меня... Не смейся... Ах да, ты не про то...

Что-что? Не слышу! Не говори так тихо. Тихо — не люблю. Словно чего-то боишься. Или чего-то скрываешь... Да? А одиноко-то жить-то еще как тошно! Хоть вой на всю округу! Хоть дрова руби. Один — он и есть один. Я? Нет! Да нет же, говорю! Да вовсе я не одинок. Еще чего! И дети есть. И внуки. И даже старуха жива! Уже сколько десятков лет пилит. Все пилит, пилит! И не сточится. Вот гляди. Нож острющий, а как быстро стачивается. Пила — и та тупеет. А вот язык... Нет, его не подточешь. Вон друг мой «Залетный» помирал. Нашенский был, потому и Залетный. И не старик. Но я уже знал, «Как помирал старик». До конца был с ним. Похоже, они умирали одинаково. И так непохоже жили. Хоть и не знаю вовсе, как они жили. Про смерть их только и знаю. А Залетный, как и старик, знал, что помрет. И все знали. А не жалели! Пьяницей обзывали! А моя пила — пуще всех. А он видел чего-то, чего мы не видели. Может, и не увидим. Ну, разве когда помирать станем. И то — не факт...

Ты говоришь, факт — что всему объяснение? Ан нет!..

Видел он! Понимаешь! Что есть между этой жизнью и той смертью. Все видел! Видел ее с собой. Как пить дал — видел. «Не страшно», — шеп-

тал. «Но еще год — и я ее приму, — шептал. — Ведь это же надо принять! Это же не казнь! Зачем же так!.. Еще полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помну...» А знаешь, что такое, когда понимаешь, что такое — одна, всего лишь одна травинка? И чего она стоит? Стоит всего золота мира! Э, да что золото. Золото — это холод. От любого металл холодно. А золото — ну попробуй, дотронься. Душа в пятки. Даже помереть хочется. А от травинки, одной травинки — жить хочется. Что? Да нет же! Все и не один у нас двор в деревне! Еще сколько дворов! Нам повезло...

Ты вот усмехаешься — повезло...

Если так глядеть... Что? Кому одиноко? Да мне же, говорю! Мне! Да так одиноко, что выть хочется! Да так тошно... Не понимаешь. Вот чудик! И в очках вроде. А не понимаешь, когда душа болит! А душа всегда одна-одинешенька. И при чем тут дети и внуки? И соседи тем паче. Они вообще ни при чем. Эх, чудик... Да чего это я? Чудик у нас точно есть. Это... Вот дурачина! Раскраски любил! Ну, все раскрашивал! А однажды в город решил к брату податься, да пятьдесят рублей потерял. Для того веку — ползарплаты за месяц. Да что потерял — не понял. Лежит полтинник, решил — чужой. Вот и закричал: кто потерял? Сбежались. Хозяина ждали. А этот чудик, когда понял, что полтинник его, кровный, постеснялся вернуться за ним. Неловко как-то, решил. Подумают — нет хозяина, на халяву и вздумал забрать. И не вернулся...

Эх, это понять надо! Да так понять! Еще как! За своим не пойдешь, чтобы честь сохранить. А какая честь, перед кем? Не знал его никто и не узнает. И он понимал, что это его кровные. Но не пошел. Ради нее, чести. Странно, говоришь? Вот потому и чудик. Хотя я понимаю. Не понимаешь? Да, такое бывает... Душа... Это...

Чего говоришь, душа?..

Эх! Ну, уж не знаю. Трудно мне с тобой говорить, коль знаешь, что может болеть все. Рука, нога, голова. Может, Глеб Капустин бы тебе лучше поведал... Тоже сосед мой. Ох, мужик, все на свете знает! Как звезды зажигаются. И как разжигаются. Все! И про невесомость тоже знает! Про саму невесомость! Не одного ученого приезжего за пояс заткнул! Так ответит — будто срезал, одно слово... Вот невесомы мы, говорит, а я верю. Но вот только не очень верю, что душа у него есть. Тянет ведь она, душа. Невесомость не про нее. Нет, он не ответит...

Что? Ты погромче никак? Ну да ладно, может, голос сорвал. Ладно...

Душа? Да, болит, гадкая, знобливая. Испуганная. Болит. Особо по воскресеньям. И особо когда март, тогда вообще... Ну, вообще тогда. И грачи когда прилетели. И талый снег. И грязь снега, по каемочкам. Именно по каемочкам, нет бы иначе. И воскресенье. Все сидят в домах, радуются, чаи пьют. А чего бы мне так не посидеть? А мне вот — болит. И не знаешь, чем облегчить ее, боль эту. И водкой не хочешь. И даже радостью нечаянной не хочешь. Потому как сам эту боль уже любить начинаешь. И в нее верить. И любить ее. Как-то не так это. И не про то...

Что говоришь? Про что?..

Да, говорил я с ним. Прощения просил. Не у Бога, у него просил. А он сам у всех прощения просил, ага. Но никто, похоже, по-настоящему так его и не простил. Хотя прощать было не за чего. Ну, разве что, что...

А про что душа-то болит?..

Может, вовсе и про то. И чтобы боль эту как-то в подвал, что ли, загнать, в погреб, танцевать вдруг начинаешь. И петь! И танцевать так ухаби-сто. И петь так звонко. Эх! Да еще вместе с баянкой. «Верую!» Верую! Верую! Иначе боль и не выхлестнешь. Только по пяткам, да по коленкам, да вприсядку. Да с хрипотцой, да с надрывом. До инфаркта-инсульта, да... Верую! Эх! Только вприсядку!..

А потом уже: «Ка-а-алина красная...» Такая красная. Что впору всем краснеть. За прошлое. Настоящее. Будущее... Вот ягодки-то, умные. Краснеют, когда нужно. Потому как всегда нужно. Краснеть. Нам всегда есть за что краснеть. Может, сразу, а может, и ступенчато. Но краснеть... Как в «Калине красной». Как самосуд. Хотя — для кого. Самосуд — это уж очень дорогое, сокровенное. Но есть. И навсегда. Навсегда... И, наверное, самое страшное. Но не про него, уж это не надо...

А чем вы? А у нас много калины. Так много, что и деть куда — не знаем. Птицы разве клюют. И то хорошо. Хотя и птицам уже надоело...

Вот-вот... Я тоже сидел, а разве не говорил? Жена моя нынешняя письма тогда писала. Засердечная. Приехал. И зажил. Вот так. Почти чуть и не убили. Почти. Самосуд устроил. За никчемную и, наверное, потом никчемную жизнь... А калина так и растет. И так же по осени и краснеет...

«Ничто не изменилось в мире. Горел над пашней ясный день, рощица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем... Густо пахло землей, так густо, тяжело пахло сырой землей, что голова легонько кружилась...» Эх, если бы мог. Если бы да под силу. Как у Шукшина. Но голова все равно кружится... Ух!..

Не веришь, очкарик?..

И вдруг раздался смех. Хрипловатый, нагловатый. И трогательный. Если такое сочетание вообще возможно. Там была боль берез одиноких. Там была боль чувств одиноких. И земля, умытая дождем. И ее запах. Там была сила. Боли. И слово сотни сердечек забились. У калины. У красной.

— Ну вот! Вот так бывает! Еще одного очкарика развел! Так ты Шукшина не читал? Лапоть! Деревенщина! Безграмотность расейская! Кирзовые сапоги! Вот! А... А? Про этих говорите? А я и не знал, кто такой Тарковский. Уж простите. И Кончаловского не поведал. Простите вдвойне. Что? Великие люди? Не знаю. Не спорю. Я же не Глеб Капустин...

Но. Когда-нибудь осенним утром. Второго октября. Я выйду на крыльцо своего дома. И дом будет окрашен звездами. И в этих звездах будут все. И ты, даже ты, очкарик... И твои те... Кого ты любишь и любил. Все они будут там...

Да... Развел... Это все — из книжек Шукшина. Не читал, деревенщина? Не читал. А я вот... Как грудь взмыло. И проросло. Боль, отчаяние, ненависть, радость и опять боль. Конечно, очкарик, честно скажу, развел я тебя. Нет у меня таких соседей. Потому как и быть не может. Хотя... Другие есть, и покруче. А таких — нету. Вот так. А жил, как и живу. Еще раз понял — поговорить не с кем, даже с тобой, очкарик! Тогда с кем? С Шукшиным хочу! Вот Бог и вел к нему, к Шукшину. И довел. А теперь мне с тобой, очкарик, и говорить не о чем. Адью...

Он развернул книжку. «Калина красная». На титульном листе — портрет и автограф Василия Макаровича Шукшина.

— Знаешь, очкарик, одно скажу. Выть хотелось? Да. Бревна метать хотелось? Да. На жену орать хотелось? Да... А вот теперь-ка. Не хочу! Не хочу. Не хочу!

А теперь и смысл есть. Есть! Я теперь могу с кем угодно говорить! Поскольку у меня — сам Шукшин. А могу и не говорить! Но с ним... Всегда хотел. И еще как поговорю. Еще как! И все узнаю! Все! И даже, даже, даже... Даже, как жить узнаю. И почему. И даже — зачем...

Он еще раз с гордостью показал книжку с автографом Шукшина. Крупным. Размашистым. На всю страницу. На весь портрет. На всю повесть. На всю шукшинскую жизнь. И не только...

Ехать оставалось уже недолго. Лениво. Скучно. Попутчики мои куда-то вышли. Подумала — и подошла к книге, лежащей на столике. Ненароком посмотрела. Вгляделась. Ох, очередной развод. «Калина красная» вышла в 1973 году. И сразу прошумела на мир. А у моего попутчика была книга 2000 года издания. Шукшина с нами уже давно, давно не было. И уже не будет. Так что не мог он подписать эту книжку... Подделка. Явная и наглая. Впрочем, разве вся наша жизнь — не подделка? Явная и наглая. Но попутчику я об этом не скажу. Он думает, что все, все правда. Пусть так и думает... Ехать еще минут пятнадцать, и кто разберется: настоящий Шукшин или нет? Пусть будет так. Ведь и его деревня, и его знакомые — настоящие. И они, скорее всего, — от Шукшина. Даже если попутчик все сегодня придумал. Но с Васи-

лием Макаровичем он сможет еще жить. Очень долго жить. Пока у последней ягодки из куста калины не оборвется сердечко. Или не оборвут... Там, где небо все же синее. И ягоды калины все же краснее...

И вновь на святого Макария,
Вон там, за калиновой рощей,
В нас так же стреляют, Макарыч.
Только еще, еще проще...

Наверное, о Василии Макаровиче Шукшине надо было бы сказать больше. Наверное. Но, наверное, есть такие, о ком просто больше и даже меньше не скажешь. Потому что жизнь — подделка? Или мы в ней — подделки? Кроме тех ста писателей, которые потрясли мир?

